



אשכולות
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ЭШКОЛОТ
www.eshkolot.ru



GENESIS
PHILANTHROPY
GROUP



РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА

ДИББУК

ДЕМОНЫ И ПРИЗРАКИ В ИДИШСКОЙ КЛАССИКЕ



Источники к курсу медленного чтения
Александры Полян и Марии Каспиной
Часть 3

Москва
ноябрь 2019 г.
проект «Эшколот»
www.eshkolot.ru

Ицхок Башевис-Зингер: демоны-рассказчики

Рассказы (пер. Л. Беринского)

1. Одержимость (Последний демон)

Тишевицкая сказка

1

Я, бес, свидетельствую, что бесов на свете больше нет. На что нужны бесы, когда человек сам бесом стал? Кого совращать, если каждый, как говорится, и без того уже спекся? Я, наверно, последний из наших, из нечисти. Прячусь на чердаке, в городишке Тишевиц, жизнь моя – это чтение сказок на идиш-тайч, эти книжки завалились здесь с давних времен, до катастрофы. Сами-то сказки – галиматья, перец кубеба на гусином надое, а все дело – в еврейской буквице! Как сказано: буквы мудрствования...

Что я еврей – и говорить не приходится. А кто же еще, гой, что ли? Да, я слышал, и у гойим есть свои бесы, но лично я никогда их не видел, не знал и знать не желаю. Иакову Исав – неровня.

Прибыл сюда я из Люблина. Тишевиц – это такая глухая дыра, куда и Адам в библейном мире не счал. Въезжает в город телега: голова кобылы уже на базаре, а задние колеса еще на развилке скрипят. Грязь на Кущи как разольется – полгода не просыхает. В Тишевице козы с крыш солому таскают – не задрав бороды. Куры – посреди улицы на яйцах сидят. Пауки – в париках у женщин гнезда свивают. В портновскую синагогу, если миньян не набирается, общинного козла волокут. Все это я говорю в настоящем, а не прошедшем времени – потому что время остановилось.

Как меня занесло в эту глушь – и не спрашивайте! Асмодей пошлет – и не вякнешь! До Замосьца дорога знакомая, а дальше помогай себе сам. Подсказали примету: на синагоге, на крыше, железный петух красуется, а на голове у него всегда ворона сидит. Этот петух когда-то вертелся под ветром, но теперь много лет уже не шевельнется, ни в бурю, ни в град. В Тишевице и железный петух окочуриться может.

Прибыл я, а из наших, гляжу, никого. Кладбище в запустении. Нужника нет. Забрался я в баню, тут рядышком, уселся на верхний полок, выглядываю наружу, на камень надгробный, и думаю: и на кой я, к примеру, тут сдался? Ну, может, длиннохвостик какой был бы здесь кстати, но гонять матерого беса за столько верст? Из

ДЕМОНЫ И ПРИЗРАКИ В ИДИШСКОЙ КЛАССИКЕ

самого Люблина, когда тут Замосьц под боком? Или что у них – демонят-лапитутов не стало? Ну и ну!

На улице солнце, лето в разгаре, а тут холодно, мрачно. Над головой паутина колышется, паук сучит лапками – то прясть затевает, то снова притихнет. Мух нету, даже следов не видать. И что он здесь, думаю, ест? Свои же кишки? И вдруг слышу: он мне отвечает, да еще нараспев, как по Гемаре:

– Эйн хакомэц масбиа¹...

Я аж расхохотался:

– Вот как? А с чего это ты вдруг – паук?

– А я здесь уже и червем и блохой побывал, – отвечает, – и лягушкой. Третью сотенку лет разменял, а заняться все нечем. И никуда не подашься – нет разрешения.

– Взял совратил бы кого-нибудь, что ж тут, одни цадики-праведники и живут?

– Да ну, мелкие людишки, ничтожные грешки. Соседу с вечера позавидует: у того новый веник, а с утра, смотришь, кается уже и постится. С тех пор как Аврум Залман, раввин здешний, внушил себе было, что он сам Божий Посланец, кровь в людишках точно застыла, совсем не течет. Будь я Сатана, я бы нашего брата понапрасну здесь не томил.

– Да ему-то что, жалко?

– И то сказать... Ну а что в мире новенького?

– Да смотря в каком... Если ты про Ситрэ-Ахрэ², то не шибко.

– Что так? Дух Добра укрепился на свете?

– Укрепился?.. Может, здесь у вас, в Тишевице... В больших городах про такое уже и не помнят. Дух Добра, ха!

– Ха-ха, Йейцер-Тов...³ Даже в Люблине – где-где, но в Люблине! – он давно уже не главная шляпа.

– Ну, так это же хорошо!

– Что ж хорошего! Нам тоже кругом виноватыми быть ни к чему, а ведь дошло до того, что грешат уже больше, чем могут, чем сил достаёт. Жизнью жертвуют ради крохи греха.

Лечу я себе намедни над Левортовой улицей, подо мной еврей топаёт, борода черная, пейсы кудряшками, шуба скунсовая, в зубах янтарный мундштук. А навстречу – мадам.

Мне и взбрело, и говорю я ему: «А что, дядя, как насчет цацы?» Я просто так, подразнить его думал, на большее и не надеялся. А то еще, думаю, обложит и в рожу

¹ Начало сентенции «Не насытится лев горстью, и не переполнится колодец песком, оседающим из его воды...» (Талмуд Бавли: Брахот).

² Бесовский мир, царство нечисти (ивр. – идиш).

³ Доброе начало, стремление души к добру (идиш).

плюнет. Платок приготовил. А он этак с ходу, да еще недовольный, со злобой: «Меня-то чего уговаривать, ты вон с ней потолкуй...»

– Откуда ж напасть?

– Хаскала⁴. Ты пока двести лет здесь торчал, Господь новую кашу заварил. Нечто неслыханное. У евреев, вишь, писатели появились. Кто на святом иврите кропает, кто на идише, и неплохо, знаешь, профессию нашу освоили. Мало того, мы покуда одного шалопая околпачим – глотку надорвешь, а эти – стансы-шмансы свои напечатают, целую гору, и сидят, рассылают по всем тфуцэс-Йисроэл⁵. И уловки-то все наши: что, мол, свято – то свято, но и пожить ведь себе в удовольствие можно! Грязь, дескать, смоеся при омовении, после смерти. Не иначе, весь мир погубить хотят. А ты вот дичаешь тут целых два века – а толку? Ну хоть одного кого-нибудь совратил? Или я – а что я за две недели успею?

– Сказано: гость на неделю видит на милую.

– А что тут видеть?

– Есть один раввинишка, перебрался из Мазл-Божица. Из ранних, тридцати нет. Зато – молэ-вэгодэш⁶, весь шас⁷ в голове. Каббалист – на всю Польшу такой! Понедельник и четверг – пост. Миква – холодная. Не подойди: в разговор и не вступит. Ребецн? Пас бэсалэ⁸. Железная стенка, и не пробуй... Спросили б меня – весь этот Тишевиц надо вычеркнуть из реестра! А ты бы помог мне, а? Чтоб меня отсюда убрали, я с ума тут схожу!

– Так... С этим рувчиком надо потолковать. С чего бы начать, ты как думаешь?

– Ха, с чего бы начать! Это ты мне сказал бы! Знаешь, как с ним: ты рот не открыл еще, а он уже соль на хвост тебе сыплет.

– Да я, братец, люблинский. Меня на соль не возьмешь...

2

По дороге допытываюсь у бесенка:

– А ты все-таки пробовал?

– Пробовал. Так и этак.

– Насчет баб?

– И не смотрит.

– Прочие прелести?

– На все один ответ.

⁴ Просвещение (ивр. – идиш).

⁵ Здесь: по всему еврейскому миру (ивр. – идиш).

⁶ Набит знаниями (ивр. – идиш).

⁷ Шесть частей, на которые делятся Мишна и Талмуд.

⁸ Здесь: «В ней всё, что ему нужно, другого не надобно» (ивр. – идиш).

- Деньги?
- Цурэс-матбэйе⁹.
- Гордыня?
- Бойрэйх мин хаковэд...¹⁰
- Что, совсем не клюет?
- Ухом не поведет.
- Но ведь что-нибудь себе думает?
- Наверно, но...

Окошко в бэздине раскрыто. Влетаем. Все как положено: орн-койдеш¹¹, книги, мезуза в деревянном футляре. Раввин, молодой человек с русой бородкой, голубые глаза, рыжие пейсы, лоб высокий, в залысынах, сидит на своем кисэ-рабонес, углубившись в Гемару. При полном облачении: кипа, пояс, талескотн, цицэс, свитые двойной восьмеркой. Вслушиваюсь: что у него там в черепе? Чистые помыслы... И вдруг покачнулся – вперед-назад – да как забуднит: «...рохл тэуно вэгзизо...» – и давай истолковывать на свой идиш-тайч весь пассаж: «заросший ягненок, и он остриг его...»

- Рохл, – говорю, – это, конечно, ягненок, но Рохл может быть и женским именем.
- Так что?
- У ягненка – шерсть, а у юной девицы – волосы.
- И что из этого?
- Если она не айлэнис, то у нее, значит, симонэ-наарэс¹².
- Что ты несешь! Не мешай, дай разобраться...

– Погоди, – говорю, – Тойра твоя – не чай, не остынет. Йанкев действительно любил свою Рохэлэ, но, когда за него выдали Лею, он тоже не отравился. А когда Лея привела ему в наложницы Зилпэ, Рохл ей назло доставила ему Билхэ...

- В обоснование дарения Тойры.
- А как насчет царя Давида?
- А это задолго до рабби Гершомо с провозглашенным хэйрэмом через отлучение!
- До отлучения, после отлучения! Мужик у главное – отлучиться с бабенкой...
- Шейгец!¹³ – как завопит вдруг раввин. – Негодяй!.. Отведи, Шаддай, от меня Сатану! – И, схватившись за пейсы, в гневе отшатывается. Потом, подняв пальцами обе мочки, затыкает ими уши: не слышу! Я продолжаю говорить, а он в самом деле не слышит. С головой погружается в «Махаршо»¹⁴. Всё! Хоть к стене обращайся.

⁹ Здесь: «И не знает, как выглядят».

¹⁰ Избегающий тщеславия... (ивр.)

¹¹ Шкаф для свитков Торы.

¹² Айлэнис – несозревшая женщина с частично мужскими приметам; симонэ-наарэс – признаки женской половозрелости (ивр. – идиш).

¹³ Нейтрально: парень-нееврей. В контексте: наглец, проходимец.

¹⁴ Текст в комментариях рабби Шмуэла Эйдлиса (Польша, 1555–1631).

- Бесенок мой замечает:
- Черствый ломоть, а? Весь день завтра будет поститься, терзаться. Отдаст нищим последний грош.
 - В наши дни – и такая вера?
 - Тверд как скала.
 - Раввинша?
 - Сказано, сама благочинность.
 - Дети?
 - Малы.
 - Может, теща?
 - Давно в мире ином.
 - Распри?
 - Ни пол-врага.
 - Да откуда же он такой тахшэс¹⁵-паинька взялся?
 - У евреев всего завалается...
 - Нет, я должен его дожать! У меня – задание. Справлюсь – в Одессу переведут, мне обещали.
 - Это что еще?
 - Рай. Ганэйдн для нашего брата. Спи себе в сутки двадцать четыре часа. Чернь греховодничает, а сам хоть бы палец о палец ударил...
 - А чем все-таки день за днем заниматься?
 - А с ведьмами развлекаться!
 - Во-о-о... А тут – ни одной. Была одна старая сука – и та зенки смежила...
 - Ну и как же обходишься?
 - Известно... Старая история... Майсэ-Ойнэн...
 - Это не дело! Вот что, ты мне подможешь, а я – клянусь бородой Асмодея! – вы-тащу тебя отсюда. Будешь у меня мэшорэсом.
 - Это бы хорошо. Только надеяться не на что. Насчет этого рыжего не обольщайся...
 - Ну-ну, – говорю, – не с такими справлялись...

3

Проходит неделя – дело с места не тронулось. И так муторно мне. Неделя в Тише-вице – считай в Люблине месяц. Бесенок мой – паренек ничего, но как проторчишь двести лет в захолустье, попробуй не стань провинциалом! Анекдотцы рассказывает времен Ханэха и сам же, дикарь, и хохочет. Называет знакомых, а имена их, может, только в Агаде и встретишь! Историйки все – с бородой.

¹⁵ Милый мальчик, добрый юноша (идиш).

ДЕМОНЫ И ПРИЗРАКИ В ИДИШСКОЙ КЛАССИКЕ

Пора сматываться. Но вернуться ни с чем – не шутка. У меня врагов среди этой братии хватает – затравят. Да меня, может, для того сюда и послали, чтоб я шею себе тут сломал? Наш брат, если он с родом людским не воюет, своего же угробить горазд.

Значит, так. Три главных соблазна: гордыня, блуд, деньги. В одну из сетей обязательно попадетесь, будь хоть трижды он цадиком! Ребчик он, конечно, упрямый, но с каким-то, видать, прицелом!

– Тишевицкий рув! – говорю. – Я не вчера, ты ведь знаешь, родился. К вам я из Люблина, там у нас дураками, как брусчаткой, мостят улицы. Благодетелями печи топят. От кабулэ-книг ломаются чердаки, а настоящего знатока, тебе равного, во всем нашем повяте, поди, не найдешь. Как же это случилось, что никто про тебя не знает? Понятно, конечно, истинный цадик – мудрец благочестный – бежит суеты... Но опять же, с другой стороны: под лежащий камень... А ведь тебе по плечу стать вождем и наставником, манэг-хадор поколения. А не каким-то – не хотелось бы вмешиваться – ребчиком в погребальном сем Тишевице... Пора о себе заявить, всем открыться! Такого, как ты, ожидают народы. Да что там – миры. Сам Мэшиех в кенципоре¹⁶ величайшего цадика ждет, сидит не у дел – все глаза проглядел! Извини, конечно, но скажу откровенно: держать тебя здесь – все равно что слона впрячь в телегу и возить на нем сено...

– Кто ты? Что тебе надо? – спрашивает, перепуганный. – Учиться мешаешь...

– Эйс лаасойс! – кричу. – Время действовать! Оставь свою Тойру! Это может любой – перелопачивать вприсидку Гемару.

– Кто послал тебя?

– Послали. И вот он я – здесь. Ты что ж думаешь, наверху про тебя не знают? На тебя рассчитывают, да, в самых высоких сферах! Если не ты – вэр нох?¹⁷ Дал Бог плечи – неси! Знаешь рифму к «венец»? «Делу конец»! Знай, что ребе Аврум Залман был Мэшиех бен-Йосеф, а тебе, всего прочего кроме, предначертана миссия Мессии бен-Довида!¹⁸ Закатай рукава, препояшь свои чресла! Не проспи, раскрой глаза шире! Мир погружается в мэ-тэт шаарэ-тумэ¹⁹, ты один – святой в этом мире, ты думай!

По всем капищам слышится плач нечестивцев, вопят, ужасаются: ребе в Тишевице уже поднимается! Князь эдемитов напустил на тебя всю ораву чертей. Сам Сатана тебя подстерегает. Асмодей под тобой яму роет. Наама и Лилис над твоей нависают постелью. Шаврири и Берири²⁰ играют с тобою в прятки – ты их и не видишь, а они тебе наступают на пятки. Если б не ангелы – всякие клипэс, злобные духи давно разодрали б тебя на сплошные прорухи. Но не брошен ты, рув тишевицкий, на их

¹⁶ Одно из важнейших мест в раю (ивр. – идиш).

¹⁷ Кто еще? (идиш)

¹⁸ Мессия из рода Давида.

¹⁹ Сорок девять врат нечистоты (ивр. – идиш).

²⁰ Имена демонов.

произвол! Сандалфон твой путь охраняет. Сам Метатрон из ойлэм-хацахцохэс²¹ за тобой наблюдает. Все теперь на чашах весов, ты решаешь, куда очень скоро, вот-вот, во Вселенной стрелку качнет.

– Что я должен?

– Выполнить все, что скажу. Все выдержать, сдюжить – даже если велел бы я Той-ру нарушить.

– Кто ты? Как твое имя?

– Элиоху хатишби²². Я уже приготовил рог-шойфэр для Мессии, и что он вострубит? – эру Геулы, всеобщего избавления, или дальше во тьму египетскую погружение на тоф-рейш-пэй-тэс²³ тысяч лет? Ты решаешь теперь, ребе тишевицкий.

Долго молчал раввинчик. Лицо у него побледнело – как лист бумаги, на котором он только что записал свои толкования.

– Как мне знать, что слова твои истинные? – спрашивает дрогнувшим голосом. – Прости меня, ангел святой, но ты должен подать мне знак, какое-то знамение.

– Справедливо. Вот тебе знак.

И я поднял такой ветер в комнате, что листок с его писаниной взвился в воздух и начал летать и парить – настоящий голубь! А страницы книги перелистывались сами собой. Паройхэс²⁴ перед орн-койдешем вздулся, как парус. Ермолка сорвалась у рува с головы, хлопнулась о потолок и опять опустилась на темя.

– Этого хватит?

– Да.

– Ты уверовал?

Он еще колебался.

– И что же ты мне повелишь?

– Наставник и вождь поколения должен быть знаменит.

– И как стать знаменитым?

– Выбраться, поездить по свету.

– И чем же там заниматься, что делать?

– Проповедовать, собирать деньги.

– Деньги? А для кого собирать?

– Ты сперва собери. А как быть с ними – я потом укажу.

– Кто ж мне их даст?

– Евреи. Я распоряжусь.

– А кто меня будет кормить, содержать?

²¹ Мир сияния, где стоит Божий трон (каббал.).

²² Илья-пророк (ивр. – идиш).

²³ Буквы древнееврейского языка и современного иврита имеют соответствующие каждой или суммарному их набору численный эквивалент. В данном случае – 689.

²⁴ Расшитый занавес перед шкафом для свитков Торы (ивр. – идиш).

– Сбирающий имеет право на долю...

– А семья...

– Денег хватит на все.

– А что прямо сейчас?

– Захлопни Гемару.

– Ой, это же «нафши хашка бетора»...²⁵

Но уже приподнял обложку, чтобы закрыть, значит, закрыть книгу. Сделай он это – все, он мой! А что бы он потом мог? Что, к примеру, удумал Йосеф дела Рейна? Дал Сатане нюхнуть табачку? Я уже тихо торжествовал: капец тебе, тишевицкий раввинчик! Мой бесенок в углу аж от зависти позеленел. При всем том, что я ж обещал его вытащить из этой дырки! Таков уж наш брат: зависть сильнее разума. А раввушко вдруг говорит:

– Прости, властелин мой, но я хотел бы еще одно подтверждение.

– Пожалуйста! – говорю. – Солнце остановить?

– Покажи мне ноги.

Как только он это сказал, я понял, что все пропало. Я мог показать ему что угодно, только не ноги – ноги у нас гусиные. У всех – от сопливого лапитута до самого Духа Мрири. Бесенок хихикнул в углу. В первый раз за тысячу лет у меня, у говоруна, отнялся язык.

– А вот ноги и не покажу! – воскликнул я в гневе.

– Значит, ты черт.

Да как заорет: лопни, мыльный пузырь! Изыдь, наважденье! Подбегает к книжному шкафу, хватает Брэйшэс и давай размахивать ею передо мной! Вот бандит! Против Книги Бытия все мы бессильны... Едва ноги унес бэфахэйнэфэш²⁶.

Что тут рассказывать... Застрял я здесь, в Тишевице. Вот тебе и Люблин, вот тебе и Одесса! В один миг все рассыпалось, как горстка золы: все потуги мои, ухищрения... От Асмодея пришел приказ: оставайся, мол, в Тишевице, за пределы тхум-шабэса²⁷ и носа сунуть не смей!

Давно ли я здесь обретаюсь? Вечность и еще одну среду. Все пережил – разрушение города, разорение Польши. Нет больше евреев. Нет больше бесов. Больше не выхлестывают на улицу бочку воды в ночь зимнего солнцеворота²⁸. В чет и нечет не верят. Спозаранку не тарабанят в дверь полиша²⁹. Не окликают прохожего:

²⁵ «Душа моя жаждала Торы...» (Тосефта, Йевамот, 8:7).

²⁶ С перебитым дыханием (ивр. – идиш).

²⁷ «Субботная черта» – расстояние в 2000 локтей, дальше которого еврею в субботу нельзя отходить от населенного пункта, в котором его застало наступление субботы (идиш).

²⁸ Обряд возлияния воды на камень в надежде вызвать дождь – на Ткуфат Тевет, в самый короткий световой день о дожде просят в молитве «Таль уматар».

²⁹ Передняя в синагоге (идиш).

«Эй!» – перед тем, как выплеснуть ведро помоев. Местного ребе – аль кидэш хашэм, пал жертвой за веру – в день пятницы, в нисан-месяц убили. Кахал истребили, книги сожгли, кладбище опоганили. «Книга Творения»³⁰ опять у Творца. В бане парятся солдаты-йаваним. В склепе раввина Аврума Залмана устроили хлев. Не стало Искусителя злого, не стало Искусителя доброго, искушений не стало. Род людской уж семижды повинен, а Мэшиех все не приходит. А к кому он придет? Помочь евреям он не явился, и евреи ушли к нему. И кому нужны теперь наши бесы? И потом, нас ведь тоже всех уничтожили. Я один остался такой, я – беженец. Свободен, могу отправляться куда захочу, но – куда? Где найдет какой старый еврей кров для беса породы моей? А к убийцам я не пойду...

На чердаке, когда-то принадлежавшем бондарю Вэлву, среди разошедшихся бочек валяются несколько книг на «трэйф-посл»³¹, на идиш-тайч. Тут и сижу я, последний наш бес. Ем пыль, сплю на оторванном гусином крыле. И читаю, читаю. Истории – как по заказу для нашего брата: про кугл, испеченный на свином жире; про то, как крестился благочестивый еврей. В общем, шкатулка с теми еще благовониями! Но буквы-то, буквы! В них теперь вся моя жизнь. Печалюсь и радуюсь. Буквы еврейские, наш алэфбэйс! Алфавит уничтожить они не смогли! Я и сижу – переставляю, перечитываю слова. Рифмы плету – рифмоплетствую. Всякую буквочку истолковываю по-своему: алэф – армия, армия прет; бэйс – беженец, беженец мрет; гимл – голод, голод морит; далэт – деревня, деревня горит; хэй – хутор, хутора нет; вов – вешатель, перевешал весь свет; зайен – зыбка, зыбка пуста; тэс – тишина, тиха пустота; йуд – еврей; ламэд – лопата; мэм – могила, могильная мята...

Пока хватит еврейских словечек – буду жив, пока моль не сожрала последнюю строчку последней страницы – есть чему посмеяться. А что будет после – я и сказать не хочу.

Без еврейской буквы, без
Алэфбэйса сдохнет бес...

³⁰ Сэфер Йецира – «Книга Творения» – одна из самых древних каббалистических книг, в ней изложены основные принципы сотворения мира, переданные Творцом праотцу Аврааму.

³¹ «Нечистый и запретный» (ивр. – идиш).

2. Тайбэлэ и Хурмиза (Тайбэлэ и ее демон)

1

В Лашнике, местечке от Люблина не столь отдаленном, проживала супружеская пара, его звали Хаим-Носн, а ее – Тайбэлэ. Жили они одиноко, бездетно, при том что муж был вполне плоден, да и Тайбэлэ нероженкой не назовешь: произвела она мальчишку на свет и двух девочек, но только все они, все то есть трое – померли в раннем младенчестве, кто от коклюша, кто от скарлатины. После чего лоно у Тайбэлэ затворилось и никакие заговоры да пришептывания, никакие травки да варки не помогли. Хаим-Носн впал в горе и стал настоящим порэшом, благонравнейшим фари-сеем. Перестал есть мясо, от жены, как говорится, отстранился, не то что в одной с ней комнате больше не спал, а вовсе в синагоге ночевать приспособился, на скамье.

В свое время Тайбэлэ досталось наследство – мануфактурная лавка, там теперь она и просиживала долгими днями, положив деревянный аршин по правую, ножницы – по левую от себя руку, а прямо перед глазами – раскрытое Пятикнижие. Хаим-Носн – длинный, худющий, темноглазый и с бородкой клинком, – тот и прежде, когда еще все вроде слава Богу было, ворчуню слыл, брюзгой и нелюдимом. Тайбэлэ – маленькая, круглолицая, светловолосая, глаза голубые. Хоть и сурово карал ее Бог, а все еще на губах промелькнет, бывало, улыбка и ямочки на щеках угадаются. Не осталось больше кому варить, для кого кухарить, но каждый день разжигала она огонь в печке или примус и готовила на себя одну кашу-гречку, бульон, а то борщ. Вязала жилетку или чулок, по канве вышивала, сидела – не в ее природе было растревлять в душе раны и горевать безгранично.

Ну а что Хаим-Носн? Уложил раз как-то в мешок молитвенные свои причиндалы, белья немного, караваец хлеба – и ушел из дому. Соседи на улице встречают его: куда, мол, реб Хаим-Носн?

– А куда глаза глядят.

Прибежали к Тайбэлэ в лавку: муж уходит! – но догонять поздно было, он уже на пароме через реку на ту сторону перебрался, а потом, как дознались, подводу до Люблина подрядил. Тайбэлэ не мешкая наняла, конечно, шэлиэха³², тот как будто и вправду на розыск пустился, но обратно уже ни муж, ни искалец не вернулись. Осталась Тайбэлэ в свои тридцать два года агунной – ни жена, ни вдова, ни опять замуж выйти.

Надеяться больше не на что было, отнял Бог у нее и детей, и супруга, обрек на одиночество, дом да лавка – все заботы и радости. Люди сочувствовали и жалели ее, потому что была она женщина тихая, добросердая и подробно честна. И за что ж ей кары такие от Господа, воистину: пути Его неисповедимы.

³² Гонец (иврит – идиш).

Приятельствовала наша Тайбэлэ с некоторыми из сверстниц своих, со времен еще девичьих. Ну, днем, известно, те всё по хозяйству, а по вечерам, случалось, собирались товарки у Тайбэлэ – так, посидеть. Летом перед домом на лавке рассаживались, рассядутся – и пошли речи с печи, небыль, случаи страшные, сказки.

В один летний вечер безлунный такой, когда в городе тьма как в Мицраиме, пересказывала Тайбэлэ жуткую подругам историю, из книги сказок, купленной у книгоноши. Про еврейскую девушку, которую бес силой заставил с ним жить как жена с мужем. Все подробности, мелочи помнила Тайбэлэ, и такой на бабенок ужас напал, что хватали друг дружку за руки, вслух отплевывались и тем смехом смеялись, что не от веселья, а от страха изнутри поднимается. Одна женка спросила:

- Что ж она, прогнать его не могла? А камей была у нее?
- Так не всякому ж бесу камей страшна, – отвечала ей Тайбэлэ.
- Ну съездила б к балшему какому, чудеснику!
- Застращал ее бес: если, мол, скажешь кому – удуш!
- Жуть какая... А мне же одной сейчас домой возвращаться...
- Ладно, я провожу тебя, – подала голос третья.

А в это время проходил в темноте мимо них Эльхонон, бедный белфер, мечтавший стать шутом-бадхэном. Он лет пять уж как вдовствовал, имел репутацию человека легкомысленного, да что там, настоящего шута, скомороха, той еще штучки! Ходил он всегда шагом тихим, точно крался, а почему? – а потому, что каблук на ботинках у него совсем стерлись и ступал он на голые пятки. Проходя близко и услышав голос Тайбэлэ, он остановился, да так и стоял в темноте, не пошевелившись: тьма была такой гущины, а бабенки так перепуганы, чуть не в обмороке, что ни одна из них, хоть и смотрели в упор, его не заметила. Эльхонон этот был тип, как сказано было, распущенный, вечно насчет женщин алчущий, настоящий – чтобы выразиться приличней – мандолинист, к тому же любил всякий розыгрыш и проделку, такое мог выкинуть! И тут же, пока столбом стоял в темноте, возник в голове его план – дерзновенный и сладкий!

Подождав, пока все разойдутся, Эльхонон пробрался во двор и застыл под деревом. Когда Тайбэлэ – а он видел ее в окне спальни, – когда Тайбэлэ легла в кровать и задудла лампу, он проник в дом. Двери были незаперты: про воров в тех местах не слыхивали. Снял в сенях лапсердак и штаны и остался в чем мать родила. На цыпочках он приблизился к Тайбэлэ – а та уже засыпала и вдруг видит чей-то в темноте силуэт, контур голой фигуры. И даже закричать от ужаса не может.

- Кто это? – спрашивает сдавленным голосом, а он так спокойно ей говорит:
- Ты, Тайбэлэ, только не кричи смотри. Закричишь – тебе и конец, на месте приблю. Я – бес Хурмиза, я многое мог бы открыть тебе про дожди, град и морок, про диких зверей и чудовищ. Я – тот самый Злой Дух, совративший невинную деву, о

которой ты намеренно рассказывала, да так красиво, знаешь, рассказывала, что я уши из бездны своей наострил и, слыша твой голос, тело твое возжелал. А ты постарайся мне не противиться, ибо тех, кто отказывается исполнять мою волю, я уволокиваю за хорэ-хойшех, за темные горы, на вершину Сеир, в пустыню, где не ступает нога человека и скот не пасется, где земля – железо, а небо – медь, где жертву свою я бросаю в язвющие тернии, в огонь, где гореть ей среди скорпионов и пиперностеров, покуда каждая косточка в ней не перемелется и не исчезнет она в том гниенье, под землю, в Гехэнэме. И напротив: меня ублажишь – об счастье, считай, спотыкнулась, во всем тебе стану споспешествовать, куда б ни пошла и в какую сторону ни повернулась...

Как сквозь обморок слышит Тайбэлэ эти слова. Сердце в груди встрепетнулось и замерло, все, умерла, думает Тайбэлэ. Потом с силами кой-как собралась и пролепетала:

– Чего ты от меня хочешь? Я замужня женщина.

– Муж твой умер, – начал чрево вещать этот жалкий белфер, – я сам пролетал над ним, когда его хоронили. Жаль, конечно, что я не могу явиться к вашему раввину, чтобы засвидетельствовать смерть твоего супруга и освободить тебя от мертвеца, да и кто бы, ламца-ца, мне, бесу, поверил бы? Наша заповедь – «не преступи порог места святого» – я уважаю Закон, питаю к нему уважение... Так что отбрось все сомненья: муж твой мертв и давно похоронен под сенью... Черви уже источили его нос. Да будь он и жив – и тогда мы с тобою могли б... быть знакомы: на нас, бесов, не распространяются ваши законы...

Долго белфер словесами сыпал – то страшными, то сладостно-радужными. Ангелов по именам называл, чертей и вампиров. Клялся, что Асмодей, то есть царь их, – его отчим, и он же – двоюродный дядька; что Лилис, их царица, для него, Хурмизы, на одной ноге пляшет и вертится, и готова перед ним расстелиться. Что Шивта-бесовка, крадущая у рожениц детей, печет для него на адском огне пончики с маком и маслит их жиром кишэфмахеров-знахарей и черных псов. Осыпал прибаутками, притчами, такие сюжеты и позы ей рисовал, что Тайбэлэ – даже в бедственном ее положении – не могла удержаться, чтобы не рассмеяться, сквозь слезы, конечно. А Хурмиза добавил, что давно ее, Тайбэлэ любит, любит ее, назвал-перечислил все шубки, в которых ходила она в прошлый год и в позапрошлый; угадал все кручины ее и тревожные мысли, которые то на кухне ей в голову лезли, когда она тесто замешивала, то в бане, то, простите, в уборной; ткнул ей пальцем – в знак доказательства – в ее синячок на левой груди. Она-де, глупая, думала, что это смерти щипок, а на самом деле – его, Хурмизы, поцелуй: этим способом о приходе своем возвещают бесы и черти, а вы уж тут как хотите: верьте, не верьте...

И забрался бес в постель к Тайбэлэ, и стал с ней все делать, что хотел. И возгласил, что отныне и впредь будет дважды в неделю – в субботу и в среду – к ней по

ночам приходится: по ночам, мол, у бесов полная власть и сила – натешисься властью. А ежели, снова предостерег, кому проболтается – горько, горько раскается. Малейший намек – и месть неминуема: волосы вырвет, оба выколет глаза, выгрызет у нее нежный – вот он, пупик, пупик! – пупок. И зашвырнет далеко в пустыню, где жуткий холод и тьма, где питаться придется ей хлебом не из белой муки, а из дерьма, воду пить – кровь, днем и ночью слушать жуткие вопли терзаемых вновь и вновь.

И поклясться велел – костями матери...

И Тайбэлэ всё бессилье свое, всю беспомощность осознала. Поклялась, обняла его бедра, и делала все, что чудовище ни пожелало.

Перед уходом Хурмиза долго-долго ее целовал, и хоть был он не настоящий мужчина, а бес, Тайбэлэ жарко отвечала на его поцелуи и слезами всю бороду ему залила. И то сказать, будучи дьявольской породы, он еще по-божески с ней обошелся.

Хурмиза ушел, а Тайбэлэ весь проплакала день, до самого захода солнца.

Хурмиза стал приходиться к ней каждую среду и субботу. Она очень боялась понести от него и родить ублюдка с хвостом и рогами, а то еще обоюдолого или другого какого монстра, но Хурмиза обещал, что будет с ней осторожен и уберезет от позора. На вопрос, следует ли ей всякий раз перед визитом его омываться в микве, Хурмиза отвечал, что законоуклад сей – для обычных людей, а не тех, кто спознал с Ситрэ-Ахрэ, царствием дьявола.

Есть пословица: бойся того, с чем не можешь обвыкнуться. Так оно и случилось. Поначалу Тайбэлэ опасалась, как бы сей ночевальщик порчу в дом не занес: мало ли – заразой какой наградит, чесоткой, коростой, колтуном вдруг одарит, а то еще собакой лаять почнешь, да-да, и такое, говорят, случалось. А про одну рассказывали – так та пить мочу стала, а уж чем питалась...

Хурмиза – тот, правда, ни розгами, ни вервием Тайбэлэ не стегал, до боли не щипал, в лицо и на груди ей не плевал, а напротив – нежно ласкал, нашептывал веселые, хоть и срамные, слова, сочинял про нее всякие вирши, вроде: «А у Тайбэлэ в гнезде, что мы свили с ней в...» Она хохотала, а он, лапитутику-постреленку под стать, продолжал болтать что-то детское, несусветное, вытворял черт-те что: вдруг за мочку уха потянет, плечо покусает, хоть не больно, а все до утра след зубов остается. Вот, уговорил волосы под париком отрастить, а потом сидел и подолгу заплетал ей косички. Обучал всяким заговорам и снадобьям, рассказывал про ночных своих братьев, про духов, с которыми кружит-летает над руинами, над полями поганок, над столбом соляным в Содоме, над застывшими водами ледовитого моря. Не отрицал, что бывает он и с другими женщинами, только все они – ведьмы. А из дочерей человеческих одна у него – она! Что ж до тех, нелюдиц, то, ублажая ее любопытство, называл бабьи их имена: Наама, Аф, Хулда, Злуха, Нафка, Хейма, Махлас...

ДЕМОНЫ И ПРИЗРАКИ В ИДИШСКОЙ КЛАССИКЕ

Про Нааму рассказывал, что черна как смола и всегда после порева наполняется злостью. Поднимая скандал, в него ядом плюется, из ноздрей клубы дыма и огня вырываются. У Махлас лицо – пиявки, и стоит ей до кого языком дотронуться, у того горячка начинается. Аф любит всякие украшения, всякое там серебро, бриллианты, смарагды. Косы у нее из червонного золота. На ногах – браслеты с колокольцами. В танец пустится – звон по всей пустыне идет.

Хулда – та обычно в образе кошки, и мяучит, а не говорит. Глаза – как зеленый крыжовник, и пока яется, медвежью печенку жует – питается.

Злуха – вражина невест человеческих. В брачную ночь отнимает силу у женихов. А в полночь как выйдет невеста на двор – в лицо ей бросается и пляшет, и скачет, и прядает. И от этого невеста каменеет или в обморок падает.

Нафка – распутница, всюду шлэндрует, за всеми чертями таскается. Сам же он, Хурмиза, от себя потому лишь не гонит ее, что уж больно по-грязному она выражается и такие ведет разговоры под утро, от которых зело и щекотно, и муторно.

Хейма, судя по имени, должна б злюкою быть, а Наама – «приятной женщиной». Все, однако, не так: Хейма – ведьма добродушнейшая, вся, как говорится, без желчи. Любит быть благодетельницей, добротворительницей, замешивает, к примеру, тесто в доме, где хозяйка больна, или хлеб приносит в семью, где царит нищета.

Всех кошелок своих обрисовал Хурмиза, тут же изобразил, как он с ними время проводит – над крышами в воздухах кувыркаются, на виду у Вселенной то этак, то так развлекаются. Каждая женщина, известно, ревнива, но может ли Тайбэлэ ревновать это бесово диво? Да еще к кому – к ведьмам? Нет-нет, откровения Хурмизы даже нравились ей – и, бывало, просит еще что-нибудь рассказать, и расспрашивала, вникала. А порой он такие тайны ей открывал, о которых не знает, никогда не знал ни один человек – про Бога, про ангелов, про палаты горние, семь небес, и, конечно, про то, как мучают там шлюх и разбойников, обитающих до поры до времени здесь – в бочках кипящей смолы, на угольях в печах, на кроватях, утыканных тернием, или в снежных сугробах по грудь, или про то, как вся нечисть, собравшись, сечет их по печени раскаленными прутьями.

Хурмиза ей открыл, что величайшая кара в аду – щекотка. Там для этого шут-хохотун, и зовут его Лэкиш. Начнет Лэкиш охочих бабенок в пятки, под мышкой или еще куда щекотать, стон и вопли стоят, как густой угар, и невыносимый хохот страдалец доносится аж до острова Мадагаскар.

Так развлекал Хурмиза свою Тайбэлэ темными сладостными ночами, и вскоре, конечно, кончилось тем, что без него она стала скучать. Слишком короткой казалась ей летняя ночь: чуть петух встрепенул – Хурмиза, глядишь, прочь. Да и зимние не Бог весть как длинны: свет дневной все равно собой застит смутный проблеск

луны. Правда же состояла в том, что Тайбэлэ любила своего Хурмизу, хотя знала, что полюбить беса нельзя. Любила и вождедела. Очень. Ждала его днем и ночью.

2

Эльхонон, как сказано, вдовствовал, и, хотя был он беден, почти что нищ, всякие сваты и сводники про него не забывали. Кто, казалось бы, мог позариться на его заработок да и на него самого – белфера, ветрогона, насмешника, – а желающие находились: девицы на выданье из неимущей семьи, бесприданницы, вдовы, брошенки. От свах и посредников он на всякий лад отделялся: та – некрасивая, у этой – грязный рот, сквернословит, третья – грязнуха, шаркунья. Сваты дивились: ты-то, жалкий белфер, с твоими тремя ломаными грошами в неделю, ты с каких пор переборчив так стал?

Но силой – известно – под хупу никого не загонишь.

Эльхонон шатался по городу, длинноногий, тощий, с рыжей всклооченной бородой, в расхристанной нараспашку рубашке, только острый выпирающий – вверх-вниз, вверх-вниз – кадык так и скачет.

И опять же как сказано, Эльхонон дожидался, когда бадхэн реб Зекеле отойдет в мир иной, и он сам, остроумец и пересмешник, переймет его дело.

Но реб Зекеле не торопился. На свадьбах он, как в лучшие свои годы, сыпал бодрыми рифмами, звенел, как стеклянной игрушкой, подначкой да похабной частушкой. Попробовал Эльхонон стать дардэке-меламедом, но никто ему своих малышей обучать не доверил. И остался кем был – провожал ребятишек утром из дому в хэй-дэр, а вечером домой. И целыми днями просиживал на дворе у меламеда Ичелэ, бездельничая, вырезая бумажные всякие розочки, пальмы финиковые, которые и нужны-то один раз в году, на Швуэс, или человечков из глины лепил.

А через дорогу там стоял, рядом с лавкой Тайбэлэ, колодец, и бегал туда Эльхонон то и дело набрать два ведра родниковой воды для реб Ичелэ или просто так, вроде пить захотелось. Медленно выбирал из бездонной, казалось, глуби тяжелую мшистую по бокам бадью и, уставив ее на край сруба, припадал губами к сверкающей влаге, прихлебывая и обливая рыжую бороду. Пил он длинно, с передышками, исподлобья направив жадный, неутоленный взгляд на Тайбэлэ, вышедшую постоять в дверях лавки. Смотрела и жалела его, такого одинокого, неприкаянного, никому на свете не нужного... Он же думал при этом: «Ой, Тайбэлэ, знала б ты правду...»

Люди почтенные вообще перестали детей доверять ему, и белфером остался он только у самых бедных и у типов с дурной репутацией, так что не во всякий уж день, а все реже и реже доставалась ему у них в доме тарелка бульона или борща – отделялись чем попало, любой сухомяткой.

Он совсем отощал, но летучей походки своей не утратил, по улице не шагал, а словно скачками перелетал на своих длинных ногах – точь-в-точь на ходулях. И еще словно жажда какая сжигала его: посидит на дворе у реб Ичелэ – и к колодцу, посидит – и к колодцу. А там – попьет, а не уходит, еще попьет – не уходит. Все вокруг того места вертится, то мужику конягу напоить подсобит, то с плутоватым лошадиником вокруг дюжей кобылы вертится, пока та, нижнюю оттопырив губу, знай себе пьет, пьет и пьет.

Как-то раз Тайбэлэ окликнула его и предложила зайти. Войдя в лавку, он на мгновение поднял на нее испуганный вопрошающий взгляд.

– У вас, вижу, одежда несколько пообносилась, если хотите, я отмерю вам несколько локтей на капоту, а вы мне потом понемногу, даст Бог, выплатите, по гривеннику в неделю, согласны?

– Нет.

– Почему ж нет? – удивилась Тайбэлэ. – Я же вас к ребе судиться не поташу... Отдадите, когда сможете...

– Нет.

И быстро вышел из лавки, чтобы она не узнала его по голосу.

В летнюю пору ночные походы к ней давались ему без труда. Кое-как прикрыв голое тело, он пробирался задворками, заброшенными глухими тропинками, пустырями. Но зимой приходилось в сених снимать с себя долго всякую ветошь, а под утро, уходя, опять одеваться в нетопленном закутке. А эти сугробы или обледенелый наст. А следы на свежем снегу – ведь докучные люди очень просто могли проследить по ним, кто шел и куда.

Этой зимой он начал покашливать, потом кашель усилился и не проходил: катарус. В постель к Тайбэлэ он забирался, стуча зубами, дрожа всем телом и долго не в силах согреться. Опасаясь, что она догадается, обнаружит обман, Эльхонон заранее придумывал то одну, то другую отговорку. Но Тайбэлэ ничего и не спрашивала об этом, она давно поняла, что бес Хурмиза страдает всеми человеческими слабостями. Он потел, чихал, икал и зевал. Иногда от него несло чесноком или луком. Сложения был он такого же примерно, как покойный муж ее, – костлявый и волосатый, с таким же большим кадыком ну и многое другое. Как у всякого человека, у него менялось настроение, то смех на него нападет, то вдруг вырвется из груди долгий тягостный вздох. Ноги у Хурмизы вовсе не были, как ему полагалось, гусиными, а обычными для людей, с ногтями и даже несколькими мозолями. И когда Тайбэлэ спросила его однажды об этом, бес объяснил:

– Стоит только вступить нам в связь с земной женщиной, и мы сразу принимаем облик бэнодэма, сына Адамова. А не то б ты так ужаснулась, что окаменела бы.

Да, Тайбэлэ полюбила, привыкла и уже почти перестала стыдиться его шуток, признаний и даже выкрутасов, которые он проделывал с ней. Удивительные рассказы его никогда не кончались, не иссякали, но теперь она в них замечала много несоответствий, какую-то путаницу, похожую на вранье. Как все вруны, он имел, наверно, короткую память. Недавно, к примеру, он заявил ей, что бесы бессмертны, живут то есть вечно, а тут ночью вдруг спрашивает:

- И что, Тайбэлэ, будет с тобой, когда я очокурюсь?
- Так ведь бесы не умирают?
- Ну да, их вниз забирают, в Шойл-тахтие.

После Суккэс грянула эпидемия. Гнилостные осенние ветры задували с реки, с болот, из лесов. Малые дети лежали рядом со взрослыми и стариками, сгорая в лихорадке, долгие дожди шли вперемешку с градом. Вода поднялась, и рухнула дамба у мельницы, у которой ветер успел уже оторвать крыло. В среду ночью, когда снова пришел Хурмиза, Тайбэлэ ощутила всем телом, как он пышет жаром, горит, только пятки – две льдышки холодные.

Он дрожал и тихо постанывал. Попытался было обнять ее, но пальцы на руках, как обмороженные, не слушались. Хотел, подсобравшись, немного развлечь ее, стал рассказывать ей, как ведьмы соблазняют юнцов и предаются утехам и играм, плещутся в миквах, завивают у женихов колтун в бороде... Но язык заплетался, и он, бес Хурмиза, не сумел даже побыть с ней как с женщиной, а только лежал весь обмякший и выжатый и пылал. Никогда прежде не являлся он к ней таким жалким, в таком горестном виде. У нее защемило в груди, и спросила:

- Может, дать тебе молока с малиной?
- Нет, это снадобье не для нашего брата, – усмехнулся он.
- А вы что делаете, когда заболаете?
- Чешемся – тем и тешимся...

Потом долго молчали. Потом Хурмиза опять захотел к ней, стал целовать ее, но изо рта у него пошел нутрянной, какой-то пережаренный запах. Обычно у нее оставался до первых петухов, но сейчас вдруг заторопился, вскочил и вышел в сени, и Тайбэлэ, вся притихшая, лежала и слушала, как он возится там в сенах, в темноте. А ведь он уверял, что всегда вылетает там через окошко, даже если оно и заперто, почему же – да-да! – явно дверь заскрипела? Она знала, нельзя молиться за бесов, напротив, их следует проклинать, проклинать самый дух их, дыханье, но теперь Тайбэлэ не удержалась и стала просить Бога, повторяя в испуге:

- Столько бесов на свете, пусть одним будет больше...

В субботу она прождала всю ночь до рассвета, но он не пришел. Она мысленно призывала его, повторяла всякие заговоры, которым он обучил ее, но в сенах было тихо, тихо-тихо... Она лежала ошеломленная, потрясенная. Потом вспомнила, как

Хурмиза однажды похвастался ей, будто некогда позабавился над гнусавцем Каином. Если верить ему, то он и Еноха водил за нос, и слизывал соль с носа Лотовой женки, и за бороду тянул самого Артаксеркса. Вот и ей он в тот раз напророчил, что лет через сто она, Тайбэлэ, будет, преобразившись, принцессой, а он, Хурмиза, вместе со слугами своими – Нижайшим и Наинижайшим – похитит ее и пленит, унесет во дворец Васимафы, жены Исава. Ну вот, а сейчас он, должно быть, лежит где-нибудь весь больной, без присмотра, одинокий беспомощный бес, сирота сиротой, ни отца, ни матери, ни жены, которая поднесла бы глоток воды. В последний его приход он так хрипло дышал – как распиливают ржавой пилой бревно, – а потом хотел выдуть нос, и она услышала, как у него свистит в ухе. И до самой среды жила Тайбэлэ, словно во сне, в среду кое-как дождалась полночи, но Хурмиза не пришел. А потом настал и рассвет – и Тайбэлэ повернулась лицом к стене.

Утро за окном наступило сумрачное, темней прошлого вечера. Снежная сыпалась пыль с небес, дым не мог подняться над трубами и расстилался на крышах, как грязные простыни. Каркали вороны, выли, не переставая, собаки. После длинной бессонной ночи Тайбэлэ, вся как побитая, лавку сегодня решила не открывать. Позже, пересилив себя, вышла из дому. Навстречу приближались четыре носильщика с митой³³ на плечах. Из-под припорошенного снегом покрывала торчали синие ноги мертвеца. Провожал синагогальный служка. Тайбэлэ тихо спросила, кто умер, и шамэс³⁴ ответил:

– Эльхонон-белфер.

Странная мысль пришла ей на ум: проводить до могилы этого неудачника, жившего в одиночестве и одиноким покинувшего сей мир. В лавку сегодня, в такую погоду все равно никто не отправится, да и что ей в том заработке, если она все утратила? Содеет, по меньшей мере, хесэд шел эмэс³⁵, проводит покойника. Путь, засыпанный снегом, оказался нескорым, на кладбище пришлось еще ждать, пока разгребет могильщик сугроб и выроет яму в промерзшей земле. Тело белфера завернули в талес, положили два черепка на глаза и сунули ему между пальцев прутик, которым он, когда явится на землю Мессия, пророеет себе дорогу в Эрец-Исраэль. Потом могилу засыпали, и могильщик произнес Кадиш. И тут Тайбэлэ разрыдалась. Эльхонон этот жил одиноко, как и она. Как и она, не оставил потомства. Теперь – всё, отплясался. По рассказам Хурмизы она знала, что умерший не сразу направляется в рай. Каждый грех, совершенный человеком при жизни, порождает бесов; бесы – дети умершего человека, когда тот умирает, они являются к нему и требуют своей доли наследства.

³³ Носилки для умершего.

³⁴ Синагогальный служка (идиш).

³⁵ Благодеяние, проводы умершего (ивр. – идиш).

Называют мертвеца отцом, волокут или кубарем катят его по сплошь диким лесам, покуда он свое не претерпит и не будет готов к очищению гехэновым пламенем.

Так с тех пор Тайбэлэ и осталась одна, дважды агуна – после благочестивого фарисея и после беса. Старость быстро справилась с ней, ничего не осталось у Тайбэлэ, кроме тайны, которую и доверить-то никому никогда нельзя. Да и ведь не поверят! Есть такие на свете тайны – сердце устам не откроет. Человек их уносит в могилу, вербы шепчут про них, вороны кричат о них криком истощным, надгробья друг дружке рассказывают – на беззвучном языке камней. Мертвецы восстанут когда-нибудь из могил, но тайны их останутся с Богом и Божьим Судом и пребудут там до скончания всех поколений.

3. Папин домашний суд (Перевод М. Вигдорович)

<...>

ПОЧЕМУ ГУСИ КРИЧАЛИ

В нашем доме всегда говорили о душах покойников, которые вселялись в живых людей и зверей, о домовых, подвалах, где таились демоны. Папа говорил о них, во-первых, потому, что это представлялось ему интересным, во-вторых, чтобы дети в большом городе не сбились с пути — они ходят куда угодно, все видят, читают светские книги. Время от времени необходимо напоминать им, что мир все еще находится во власти таинственных сил.

Однажды, мне было тогда восемь лет, он рассказал нам историю, вычитанную им в одной священной книге. Если не ошибаюсь, автором книги был рабби Элиёу Грейдикер или другой грейдикский раввин. Там рассказывалось о девушке, одержимой четырьмя демонами. Можно было видеть, как они ползали по ее внутренностям, раздували ее живот, переходили из одной части тела в другую, скользили в ногах. Грейдикский раввин изгонял злых духов, дую в бараний рог, произнося заклинания, окуривая девушку волшебными травами.

Папа, рассказывая подобные истории, очень волновался и говорил:

— Что, грейдикский раввин был, упаси Бог, лжец? И все раввины, цадики и мудрецы лгут, одни только атеисты говорят правду? Горе нам! Как можно быть таким слепым?

Вдруг открылась дверь, вошла женщина с корзиной, в которой лежали два гуся. Вид у гостыи был испуганный. Парик сбит набок, она нервно улыбалась.

Папа никогда не смотрел на посторонних женщин, это, как известно, не рекомендуется еврейским законом. Но мама и мы, дети, сразу поняли, что женщина чем-то очень взволнована.

— Ребе, у меня к вам очень необычное дело, — обратилась она к отцу.

— Какое дело? — спросил папа.

— Дело, связанное с этими гусями.

— Ну и что с гусями?

— Дорогой ребе! Гуси зарезаны по закону. Я отрезала им головы, вынула внутренности, печень, нее другие потроха, но гуси продолжают кричать, да так жалобно...

Папа побледнел, я тоже страшно испугался. Что касается мамы, то она происходила из семьи рационалистов и была по своей природе скептиком.

— Мертвые гуси не кричат, — заявила она.

— Вы услышите сами, — настаивала женщина. Она вынула из корзины одного гуся. Положила его на стол, потом второго. Гуси были без голов, выпотрошенные — короче, обыкновенные мертвые гуси.

Мама улыбалась.

— И эти гуси кричат?

— Вы сейчас услышите.

Женщина швырнула одного гуся на другого, и сразу раздался звук, описать который нелегко. Похожий на гусиный гогот, он был таким пронзительным, таким необычным, полным такой муки, что я похолодел. Почувствовал, как волоски моих пейсиков встали дыбом и колются. Мне хотелось убежать из комнаты. Но куда? Страх сжал мне горло. Я закричал и вцепился в юбку матери, как трехлетний ребенок.

Папа забыл, что следует отвращать взгляд от женщины, и бросился к столу. Он был испуган не меньше, чем я. Рыжая борода его дрожала. В голубых глазах стоял страх, смешанный с сознанием того, что не только грейдикскому раввину, но и ему послано небесное знамение. Но, может быть, послано злым духом, сатаной?

— Что вы скажете теперь? — спросила женщина.

Мама уже не улыбалась. В ее глазах было нечто вроде грусти, а также досада.

— Я не могу понять, в чем здесь дело, — сказала она с некоторым раздражением.

— Хотите услышать еще раз?

Женщина снова бросила одного гуся на другого. И снова мертвый гусь издал странный крик — крик обезглавленного существа, зарезанного шойхетом, но сохранившего жизненную силу, все еще пытаюсь отомстить живущим за учиненную несправедливость. Меня пробрала дрожь...

Голос папы стал хриплым, прерывистым, будто он сдерживал рыдания:

— Ну, есть Создатель?

— Ребе, что мне делать, куда мне идти? — печально спрашивала женщина. — Что со мной случилось? Куда я пойду со своим горем? Может быть, обратиться к одному из цадииков? Зарезаны ли гуси по закону? Я боюсь нести их домой. Хотела приготовить их на субботний ужин, и такая беда! Святой ребе, что мне делать? Может, выбросить их? Мне сказали, что их надо завернуть в саван и похоронить в могиле. Но я бедная женщина. Два гуся! Я столько отдала за них!

Папа не знал, что ей сказать. Он посмотрел на шкаф с книгами. Если ответ есть, то только в них!

Внезапно он сердито взглянул на маму:

— А что ты скажешь теперь, а?

Лицо мамы стало угрюмым, маленьким, обострилось. В глазах ее появилась досада и что-то вроде стыда.

— Я хочу услышать еще раз, — не то попросила, не то приказала она.

Женщина в третий раз швырнула одного гуся на другого. И снова раздался крик. Мне пришло в голову, что так кричит телец на заклинании. Папа опять заговорил:

— Горе, горе, а они все кощунствуют! Сказано, что грешники не раскаиваются даже у самых врат ада. Они видят правду собственными глазами и продолжают отрицать Творца своего. Их тащат в пропасть бездонную, а они утверждают, что это «природа», «случайность»!

Он посмотрел на маму, как бы желая сказать:

— Ты идешь вслед за ними!

На некоторое время воцарилось молчание. Потом женщина спросила:

— Ну так что? Я выдумала все это?

И тут мама засмеялась. В смехе этом было нечто, заставившее всех нас задрожать. Я каким-то шестым чувством понял, что мама готовится закончить страшную драму, разыгравшуюся у нас на глазах.

— Скажите мне, вы пищеводы вынули из гусей? — спросила она женщину.

— Пищеводы? Нет.

— Выньте их, — посоветовала мама, — и ваши гуси перестанут кричать.

— Что ты болтаешь? При чем тут пищеводы? — рассердился папа.

Мама засунула палец в одного из гусей и, напрягшись, вытянула из него тонкую трубочку, ведущую от горловины к легким. То же самое проделала она и с другим гусем. Я дрожал, потрясенный смелостью матери. Руки ее были в крови. Лицо отражало гнев рационалиста, которого пытались напугать среди бела дня.

Папа был бледный, лицо его выражало смирение и некоторое разочарование. Он понял, что происходит: логика, холодная логика вновь опрокинула веру, издеваясь над ней, выставляя ее на посмешище и презрение.

— Теперь возьмите, пожалуйста, одного гуся и стукните его о другого, — распорядилась мама.

Все висело на волоске. Если гуси закричат, рационализму и скептицизму матери, унаследованным ею от своего умника отца-миснагеда[3], будет нанесен ощутимый удар. А что я? Напутанный, я в душе все же хотел, чтобы гуси закричали, закричали так громко, что люди на улице услышат и сбегутся.

Увы, гуси молчали, как и следует мертвым птицам без голов и пищеводов.

— Дай полотенце! — повернулась ко мне мама.

Я побежал за полотенцем. На глазах у меня были слезы. Мама вытерла руки полотенцем, как хирург после трудной операции.

— Вот что это было! — победно произнесла она.

— Ребе, что скажете вы? — спросила хозяйка гусей.

Папа стал кашлять, что-то бормотать.

— Я никогда не слышал о подобном, — признался он.

— И я, — присоединилась к нему мама. — Но все можно объяснить. Мертвые гуси не кричат.

— Я могу пойти домой и жарить их? — спросила женщина.

— Пойдите домой и приготовьте их на Субботу, — посоветовала мама. — Не бойтесь. Они не станут кричать на противне.

— Что скажете вы, ребе?

— Хм... Они кошерные, — пробормотал папа, — их можно есть.

На самом деле он не был вполне уверен в этом, но не решился объявить гусей тrefными, ведь и закон — миснагед.

Мама вернулась на кухню. Вдруг папа заговорил со мной, как со взрослым.

— Она пошла в твоего дедушку, билгорайского раввина. Он большой ученый, но холодный миснагед. Меня предупреждали об этом еще до нашей свадьбы...

И папа вскинул руки так, как если бы хотел сказать: «Теперь уже поздно отменять брак».

ЗАМЕТКИ



אשכולות
КУЛЬТУРООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ЭШКОЛОТ
www.eshkolot.ru



GENESIS
PHILANTHROPY
GROUP